

Казнь Махамбета -2/

продолжение

Category: Kitapcy, Romanlar

написано kitapcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -2/ продолжение История вторая

- Ак Медресе

– Будешь говорить такие вещи – никогда не попадешь в Хусанийе!
– мырза нависал над Махамбетом, подобный старому, толстому стволу дерева, уже прогнившему изнутри, но внешне все еще крепкому и потому самому себе казавшемуся грозным.

Попадать в Хусанийе, лучшее медресе Оренбурга, Махамбету не очень-то и хотелось. Да вот только с отцом не особо поспоришь. Старый Утемис уже изрядно потратился на мзду этому мырзе, лишь бы тот взялся за обучение младшего сына, упрянца с дерзким характером, находившего в себе смелость перечить отцу при всем семействе. Все надеялся стареющий Утемис, что уроки мулл окажутся действеннее отцовского камшы – витой кожаной плетки, не раз охаживавшей спину малолетнего бунтаря. Жены, души не чаявшие в остром на язык мальчишке, вечно за него заступались. Даже старшие братья, даром что своих детей уж завели, к малолетнему буяну относились по-особенному, и после каждой порки обижались на отца, так, словно это он их собственных детей уважению учить вздумал. Воистину, еркебала – баловень растет под шаныраком строгого старосты Утемиса, и никто ему ни указ: ни мырза-учитель, ни старшие братья, а порой и самого отца послушаться горазд.

Это все шаман-баксы, его влияние – уж слишком много он возился с шустрым, крепким мальчишкой, забил ему голову старыми, никому не нужными вещами, сказками, историями про дерзких и могучих батыров, победителей кровавых сражений прошлого, любимцев Неба-Тенгри, черпавшими силу от самой Великой Степи. Сейчас – время мира, время спокойствия, и все эти легенды

вызывают у молодежи одно томление духа, будоражат кровь, и без того беспокойную, а потому решено было – в мектеб его, подальше от старого колдуна с его сказками.

В мектебе, что велся в кочевье Утемиса, старшим, да и единственным учителем был мулла-мырза, тот самый, что присутствовал еще при рождении Махамбета, ел жирными пальцами беспармак за дастарханом его отца, а сам обо всем, что в кочевье происходило, докладывал мулле, что при самом Бокейхане держался. Не любил мулла-мырзу Махамбет, а что того хуже – не боялся! За попытку учителя наказать плеткой подвижного ученика, отвлекавшегося за уроками чтения Корана, боднул головой в живот, повалил на землю опешившего от неожиданного нападения мырзу, прыгнул на толстый живот, да так, что все дыхание отшибло! Кричал при этом: «Никто сына Утемиса, кроме самого Утемиса, бить не может!». Отцу, когда такое доложили, конечно, приятно было, однако мстительный мырза настоял, чтобы обещанное наказание строптивцу при нем совершилось. Пришлось Утемису сына в присутствии мулла-мырзы хорошенько выпороть, пока тот сам не остановил экзекуцию. А тот и не думал бы останавливать, если бы не заметил взгляды – волчьи, злые – устремленные на него со всех сторон. Жены утемисовы да невестки – с одной стороны, сыновья старшие, братья Махамбета – с другой, так смотрели на мырзу, что у того аж борода от страха встопорщилась. Нехотя остановил руку отцовскую, прекратил наказание, а мальчишка дерзкий все одно так посмотрел, что понял мулла-мырза – не справиться ему с этим. Вся спина в кровь исхлестана, так ведь ни единому стону не позволил вырваться из-за стиснутых зубов, дышал только – мелко, часто...

С тех самых пор вольготно было Махамбету в мектебе, совсем не доставал его мулла-мырза, не спрашивал ни о чем, вовсе будто нет того на уроках. Поначалу нравилось это мальчишке, а потом обидно стало. Пытался было учиться, на вопросы учителя отвечать – а тот и не слышит его, не замечает. Начал тогда вовсю буянить, уроки срывать. Не выдержал мулла-мырза, опять к

старому Утемису пошел. Забери, сказал, сына, не могу я с ним, а он со мной. Зря он это сделал. Крепко рассердился старый Утемис, закричал на мулла-мырзу, мол, зачем же я держу тебя, зачем кормлю, если ты моих детей учить не можешь? Ну, так то, ясное дело, отцу только повод был. Выгнал он гниловатого мырзу из своего кочевья, а сам из Оренбурга другого нарочным письмом выписал. Что же до Махамбета, так пришлось к единственному человеку, который на мальчишку влияние имел, обращаться.

Вызвал Утемис к себе в юрту старого шамана, молочного ягненка-козы для него зарезать велел, своими руками пиалу кумысом наполнял за дастарханом, уважительно так говорил:

– Испортил ты мысли сыну моему, старик козлобородый, отравил дерзостью да смутой. Был бы я другой человек – сам бы тебя выпорол...

– Был бы ты другой человек, так я к тебе в юрту и ногой бы не ступил! – смеялся в ответ старый шаман. – Больше скажу тебе – не родись этот мальчишка в твоём кочевье, так я без твоего ведома каждый месяц у Неба-Тенгри за твои стада не просил бы прибывка, здоровья детям твоим и женам не молил бы! Куда-тамак в твоей семье родился, тот, кто себя в жертву принесет ради Степи нашей, духа нашего, корней... А за бороду мою козлиную ответишь еще! За козла коня зарежешь, на согым зимний, и все мясо с того коня отправишь в медресе, какое я скажу...

Удивился старый Утемис. Не было еще такого, чтобы шаман Великого Тенгри за муслимовские медресе просил, а тут, гляди-ка! А шаман знай себе смеется:

– Давно тебя знаю. Утеке, твой сын в тебя весь упрямством, ты же из-за того не поступишь правильно, не отдашь мальчишку мне в обучение?!

Вроде даже не спросил шаман, утверждал скорее, но все равно мелькала в глазах надежда, а вдруг одумается старый упрямец, пойдет против адата-обычая последних веков, отдаст буйного

мальчишку в обучение шаману.

– Не поймут меня, осудят! Не сирота ведь, не увечный, благородной крови, отдавать такого шаману в ученики – против ханских обычаев пойти, против всей уммы!..

– Вот! – старый шаман вознес к шаныраку-потолку юрты узловатый, лоснящийся от жира палец: – От того у народа Степи и беды все, что Небу-Тенгри в услужение одних сирот, увечных да умом скорбных отдаем! От корней своих отвернулись, против крови своей пошли! И не подумай ты, что беды все от мстительности Неба-Тенгри, или Матери-Степи. Нет им дела до глупости человеческой, и до неблагодарности нашей дела им нет. Сами себе мы хуже делаем, закон кочевника степного на закон кочевья пустынь променяв. Небо – оно над всеми одно, а вот воздух, вода, земля у нас разные. На чужом языке молитву возносим, сами порой не знаем, что просим, а все равно просим! – А разве же мы о чем плохом просим, на арабском-то? – недоверчиво спросил Утемис, подливая кумыс в пиалу шаману.

Тот покачал головой:

– Плохое ли, хорошее – кому как. Терпения просим, сами на себя покорность призываем, силы просим не для борьбы, а для того, чтобы испытания безропотно сносить. Что просим, то и получаем...

– И что в том худого? – удивился Утемис. – На покорности людей наших вся власть держится! О том и хан Бокей говорил...

– Вот! – узловатый палец опять взметнулся вверх, старый служитель Тенгри в праведном возмущении тряс им перед лицом Утемиса. – Хан говорил! Хан, построивший свою орду не на доблести – на покорности! Истинный Абылкаира наследник, променявший шокпар-палицу воина на байтерек-державу правителя! И ладно бы, если тот байтерек сам, своей рукой взял. Так нет, поклонившись, из рук посланника царя орысов принял! Вольных степняков превратил в стадо смиренных пенде, пастух которых – Покорность!

– Зато – мир! – вскричал Утемис, и тут же замолк под пронзительным взглядом старого шамана.

– Мир, говоришь? Такой мир только кизяк тлеющий для костра

новых, еще худших войн! Когда степняк становится пенде, разве девается куда-то прочь его дух? Пропадает гордость? Нет, все они внутри него, как волос, не проросший через кожу. Вроде не видно его, а он внутрь растет, и взорвется однажды раной гнойной, с болью, кровью грязной, которая убить может, с гноем давней слабости, унижения, обиды смешавшись! Может, и зря я на Абылкаира злобу держу, может, не о таком союзе с орысами мечтал он, да только, гляди, во что это вылилось! И все еще хуже будет!

— Как хуже? В чем — хуже? Почему — хуже? — лицо Утемиса покрылось пятнами.

Непонимание вызывало ярость, но страх перед старым шаманом и стоявшим за ним древними силами пока еще сдерживал эту бурю чувств, бьющуюся об страх, как весной воды Жайыка бьются об глиняные дамбы, возводимые яицкими казаками там, где берег выходил к их станицам. И так же бессильно, как вода речная бессильна перед хитростью человеческой, терялась ярость перед этим хитрым страхом, что воспитывался в степняках дольше, чем помнили они себя в этой Степи.

— Степь — это воля, а Пустыня требует рабства! — шепотом сказал старый шаман, будто открывая хозяину кочевья страшную тайну.

— Тебе откуда знать, ты же в пустыне никогда не был?! — так же шепотом спросил Утемис.

— Я, может, и не был, а вот аруаки, духи предков наших, все знают, все ведают, везде бывают..., — чуть закатив зрачки за верхние веки, и начав раскачиваться, начал было шаман, но тут Утемис вдруг рыгнул громко, и совершенно бесцеремонно прервал начинающийся было транс:

— А еще ты в медресе учился, и в гимназии оренбургской, у орысов, так я еще от отца своего слыхивал... Тебя, вроде, сам Тевкелев с собою туда забирал, когда ты еще мальчишкой был, как мой Махамбет. Сколько же лет тебе, шал? Ты, небось, еще и Абылкаира помнишь? У каких же наставников ты сам-то учился?..

— Учился, — совершенно обыденно кивнул шаман, и тоже рыгнул,

отдавая должное то ли уму хозяина кочевья, то ли бешпармаку из молочного ягненка. Но вопрос о возрасте будто бы даже не услышал. И то верно, зачем чесать старые раны, когда жизнь так и норовит новые нанести?

– Какая тебе разница, откуда я что знаю? Ты же все равно мне сына в ученики не отдашь. Так пусть по-другому учится, путь мой сам пройдет. Отдай его в медресе. Да не в обычный отдай, а в Белый...

+++

Ак Медресе построили из камней старой ханской ставки Сарайчик, разрушенной еще орысским царем Иваном, которого свой же народ Грозным прозвал. Когда-то в этих местах кипела жизнь, отчаянные степные воины свозили сюда всю свою добычу, награбленную в походах на юг, туда, где проходил Великий Шелковый Путь. С выкупом приходили сюда за своими людьми даже посланцы далекого Рима, циньские ушлые посредники дела свои темные решали, и даже порой с той стороны Хазара, через все моря пройдя, заходили торговые ладьи ширваншахов из Города Ветров – Баку.

Ныне только ветер гулял среди развалин, тугайная растительность пробивалась через древнюю кладку стен, обнажая человеческие черепа – никто не хоронил защитников ханской ставки, уничтоженной волею грозного Ивана. Только могилы семи ханов чтили степняки, обнесли кладкой из белого камня, да наглухо запечатали, чтобы никто не тревожил костей великих предков, ставших могущественными аруаками – хранителями этой земли. Даже казаки яицкие, даром, что никого, кроме Бога своего да фискала налогового, не боятся, а и те здесь станиц не ставили, промысла красной рыбы не вели. Потому и поставили здесь беглые суфии свой медресе. Бежали они отовсюду – кто от гнева султана османского, из Коньи Анатолийской, кто из Тебриза, где веленьем персидского шаха с них за ересь кожу живьем сдирали. Здесь, у берегов Ак Жайыка, под сенью Ханской Ставки Сарайчик, да под защитой древних аруаков, прятались, тайны учения своего храня.

В ученики мало кого принимали, за обучение же брали не золотом или рублем орысским, но только припасами разными, от съестных, и до инструментов, что в хозяйстве сгодятся. Оружия только не принимали. И как-то так выходило, что выходцы из медресе этого потом при самых важных властителях советниками делались... Или же совсем наоборот, в шаманы уходили. Но и те, и другие, всю свою силу, значимость, уважение и страх, что к ним испытывался, направляли на то, чтобы Белый Медресе оставался неприкосновенным. Вроде есть он, и каждый о нем знает, а как спросишь кого – молчат, только головой качают, мол, не слышали про такое, не ведаем, да и сами мы не местные, из Сарыарка кочевьем пришли, в Сарыжайлау уйдем, можем кумысу налить, куртом угостить, а больше ничего не можем, как-то так вот...

Утемис сына в Ак Медресе засылать и не собирался, в его мечтах было другое заведение – оренбургский Хусанийе, откуда выходили самые почитаемые муллы-мырза Букеевской Орды. Однако прав был старый шаман, потому как с таким своим характером дерзкий мальчишка мог весь свой род опозорить, отца своего насмешкою сделать для всей образованной Орды. Нет, такого допустить Утемис не мог! К тому же, два года назад, когда ходил он с паломничеством в Огланды, к святому адайского рода Бекету Ата, и взял с собой маленького Махамбета, Пір Бекет благословил мальчика особым вниманием. С самим Утемисом, почитай, и не говорил вовсе. Все то недолгое время, что они провели в его гостевой юрте, суфийский старец уделил этому ребенку, сыну пусть уважаемого, но все же – не более, чем старосты кочевья. Впрочем, помнил Утемис, с каким уважением после этого смотрели на него все те многочисленные паломники да почитатели святого, помнил и то, как отношение самого хана Бокея, охладевшего было к своему старому соратнику, вновь потеплело. Может, есть в этом высшая польза, и лучше уж отдать мальчишку к суфиям в обучение? Потому и согласился старый отец, скрепя сердце, на все условия шамана.

– С ходжой-настоятелем я сам договорюсь, то не сложно будет. На твоём сыне благословение самого Пір Бекета, так что, как

весть от него получим, бросишь все дела свои, и сам сына на коня посадишь, сам его повезешь, с рук на руки ходже-наставнику передашь. Таков адат, а до того – жди!

Ждать же пришлось хоть и недолго, всего-то неделю, да только к концу той недели все кочевье извелось от буйного нрава десятилетнего юнца. Начать с того, что подговорил он старших братьев на дерзость неслыханную – напали ночью на табун жылкыши-коневодов из рода тама, увели, еще и пастуха, пытавшегося на защиту добра своего встать, его же собственной камшой огрели поперек лица, так, что у того на всю жизнь шрам теперь останется. А у пастуха того, между прочим, и фармандозволение от самого Бокей хана имелось на проход с правом выпаса по землям Орды, и примчался он на рассвете, все кочевье переполошил, и тряс он тем самым фарманом перед носом красного от гнева Утемиса, а из шрама на лице его стекала кровь.

Вызвал сыновей старших, а тут перед ними наперед мальчишка выскакивает, голову на не по годам толстой упрямо, что тот же бычок, вперед выставил, удто бодаться собрался. Я, говорит, всех подзудил, нет вины на братьях, меня наказывай! И плеткой, значит, это я его... Ну, коневод обиженный, понятное дело, на мальчика и не смотрит, ему-то надобно старших жигитов из рода обидчика наказать, да только как заприметил это малый, выхватил из-за пояса у того камшу, и как размахнется, как протянет алую полосу поперек свежего еще шрама, да с оттяжкой, так, что край губы разорвало жалобщику! Всего разок ударил, и стоит, повернувшись к отцу – вот, мол, видел, что я виноватый? Меня наказывай!

Утемис растерялся аж от дерзости да отваги такой, в сердце своем одно желание чует – обнять мальчишку, к груди прижать за отвагу, а сам видит, как сыновья старшие вокруг мальчишки собираются, собой, значит, огородить хотят. Нечто и впрямь против отца родного пойдут, коли наказать младшего решит? А ведь должен, должен наказать, иначе – никак!

Тут вышла вперед жена старшего сына, да как бросит в

окровавленное лицо коневоду-жалобщику монисто свое, из золотых орысских червонцев, и говорит так:

– Кан-багасын толеймин! Цену за кровь плачу!

Вслед жена другого сына, браслет золотой кидает, прямо по носу обиженному, и тоже кричит:

– Кан-багасын толеймин! За кровь и обиду плачу!

Опомнился тут Утемис, бросился вперед, пока невестки его все свое золото за глупость мальчишескую обидчику не отдали, схватил того за плечи, в шатер свой уволок, а тот за монисто схватился, боится, видать, что отнимут, еще и за браслетом, что в пыль упал, наклониться норовит. А Утемис ему и шепчет:

– Если за обиду золотом возьмешь, тогда половину табуна себе оставляю! Сам думай!

Сказал, а думать жалобщику времени не оставил, в юрту свою затолкал, и там уже нож-ханжар вытащил, к лицу коневода поднес, прошипел змеей гремучей:

– Ты с кого цену крови брать решил, собака? С Утемиса Берша? Мой род цену крови только кровью платит!

Понял пастух из рода тама, что перегнул он палку, перешел границу дозволенного, и если не придумает чего – всего лишиться может: и табуна, и даже жизни, а того хуже, меж двумя родами войну развяжет! Однако обида за два удара плетью по лицу. Уже и не лицо – сердце жжет кочевнику, волосом сквозь гной душевный пробивается, словами ядовитыми внутри, но сладкими снаружи:

– Ты достойный, уважаемый человек. За тебя Бокей хан только хорошее говорил всегда. Я на милость твою рассчитывая пришел, голову перед тобой склоняю, справедливости прошу. А если считаешь, что ничего я не достоин, так тому и быть. Только ведь не твой род цену заплатил. Невестка твоя из своих украшений за кровь мою платила. Нет на твоём племени пятна, а

женщины, они такие, не понять им гордости мужской, но и ты гордость женскую не топчи. Адат-обычай соблюла она, позволь и мне соблюсти, только это вот..., – и потряс тихонько монисто, – возьму, коли разрешишь....

Хитер тама-конецвод: ведь в монисто этом червонцев – на три таких табуна хватит. Однако богат Утемисов род, что ему нынче червонцы, когда из такой кучи верблюжьего кизяка надо уже не чарык – шапан спасать! Задумался старый Утемис, отвел ханжар от лица, и без того порезанного, кивнул медленно. Добавил только:

– Табун твой заберу. Своим скажешь, что продал его мне. Иди давай, чтоб ноги твоей тут не было!

– А коня, агай, коня мне дашь, хоть самого плохонького? – жалобно попробовал было хоть немного увеличить свою на треть уменьшившуюся прибыль конецвод.

– На каком сюда прискакал, на таком и уедешь! – рыкнул Утемис, и лицо со шрамами исчезло-испарилось из юрты хозяина кочевья, оставив после себя сладковатый запах лести, страха и гнильцы.

А Утемис взмолился – не богу своих предков Небу-Тенгри, но уже привычному Кудай-Аллаху, с просьбой быстрее принести ответ из Белого Медресе.

+++

Через два дня шаман явился в кочевье Утемиса. Именно, что явился, пешком, с неведомой стороны. Причем уверен был хозяин кочевья, что отправь он лучших своих охотников-жигитов найти следы шамана на подступах к аулу – ни с одной из восьми сторон света не найдут. Не удивлялся, впрочем. Да и чему удивляться, ведь если силы Великой Степи и Неба-Тенгри велики, и свидетелем тому само выживание рода степняков на этих жестоких просторах, то и у служителей сил этих должно быть тайное могущество, недоступное уму что чабанов, что биев.

– Заждался? – одними глазами смеялся шаман, а Утемису не до смеха было.

Схватил за грудки ветхого шапана, встряхнул старика. А тот возьми, да и схвати хозяина кочевья за запястья, и начини сжимать сухими, крепкими, как ветки карагача, пальцами. Застыли на несколько долгих, наполненных болью от напряжения в мышцах мгновений – большой, дородный Утемис, не отпускающий ворот шапана, и щуплый старик с руками узловатыми, мышцы сквозь прорехи в рукавах черными змеями виднеются, под старческой кожей бугрятся, и глаза стариковские смеются, а губы шепчут:

– Видел я по пути сюда табунщика без табуна, с лицом, шрамами расписанным. Махамбета рук дело?

Кивнул Утемис, ворота шапана не отпуская. А старик вдруг руки разжал, сам обмяк, вмиг смех в глазах пропал. Утемис аж опешил, не успел рук ослабить, треснула ветхая ткань, оторвалась, осталась двумя лоскутами в сильных руках его. Старый шаман же, не обращая внимания, сел прямо на землю, в пыль опустил руки, загреб полные горсти, в голову свою лысую, кожу чуть ли не в кровь раздираячи, втирать стал, причитая:

– Дурак я, старый дурак... опять опоздал... всегда опаздываю!..

Вот тут страшно стало Утемису, разжал сжатые до того кулаки, двумя серыми ящерицами выпали-легли в пыль земную лоскутки от шаманова воротника.

– Да что такое то случилось? – спросил шепотом.

– Судьба случилась! – огрызнулся шаман, будто обвиняя отца в том, что его сын натворил.

Опомнился, увидев, как округлились утемисовы глаза от удивления, взял себя в руки, вскочил с земли, схватил хозяина аула за руку.

– Веди в шатер! Кумысом пои! Мясом корми! Согласился хожда-настоятель Ак Медресе сына твоего принять. Так что накорми меня, суюнши-подарок за весть радостную вручи, спать в своей юрте оставь, как гостя дорогого. А сам, не мешкая, в дорогу

собирайся, сына в Хан Ордасы Сарайчик повезешь, там тебя настоятель ждать будет...

– Эээ.. что, и в самом деле в моей юрте спать будешь? – не веря собственным ушам, в полном изумлении спросил Утемис.

Знал ведь старый адат-обычай – не спят шаманы в шатрах ханских, только под открытым небом ложатся, в любую погоду. Старик в ответ оскалился злой, невеселой улыбкой:

– Ойбай, Утеке, совсем шуток старика понимать перестал! Куда ты без меня поедешь? Не найдешь ведь даже дороги к Белому Медресе, не пустит тебя Степь без моего покровительства!

Заметил зарождающуюся было обиду в глазах хозяина аула, веселее уже продолжил:

– Ну, это я только насчет ночлега пошутил. А мясо поесть, кумыс выпить перед дорогой в твоей юрте не откажусь! Пусть Махамбет, и все остальные сыновья твои, с нами за дастархан сядут. И невестки твои, и внуки. Благословение-бата сегодня всему твоему аулу будет – Утемис сына в Ак Медресе везет, учиться!

+ + +

– Учиться будешь, сынок! Человеком будешь грамотным, человеком станешь нужным...

– Это потому, что все добро старшим братьям достанется, да? – прервал мальчишка речь отца.

Утемис до крови прикусил губу: сына он посадил в седло прямо перед собой, лошадь шла ровной рысью, и наказать его прямо сейчас не представлялось никакой возможности. А не накажешь сейчас – так потом и вовсе забудешь. И он – забудет, глядишь, и не поймет даже, за что наказывают.

– Везучий ты родился у меня, сынок! – сказал только сквозь зубы. И удивился спокойному ответу мальчишки:

– Это потому что я – кудай-тамак, мне шаман-аке все объяснил.

Меня Степь хранит, пока мое время не придет. А за это удача мне всегда будет!

Рассердился Утемис, хотел было ударить пятками коня, нагнать шамана, пылившего на лучшей лошади из табунов Утемиса далеко впереди, охаять того за мысли мрачные, что мальчишке внушает. Да только нельзя – дорогу открывает шаман в запретное для всех место, в Ак Медресе. Да и не догнать его – не выдюжит конь под ними, двоих ведь несет, Махамбет даром что маленький, а костью крепок и тяжел. Коня же всего одного взял, потому как не следует в эти земли большим числом ездить, – казаки яицкие след степного коня знают, так и рыщут, чтобы напасть да ограбить. Большим же числом да с оружием степнякам-хозяевам этой земли ездить запрет положен царским указом, подтвержденным фарманом самого Бокей-хана. Если ты земле своей, степи своей не хозяин, так гоже ли злобу на малом ребенке ли, на старике ли вымещать, по мужеству ли дело это? Нет, опять не получается никого наказать. Остается снова скрипнуть зубами в бессильной ярости своей, да процедить:

– Эх, забыл бы ты про все эти страшны вещи, сынок!

И еще больше удивился ответу ребенка малого:

– А я и сам хочу забыть, отец! Думаешь, легко жить, зная, что твоя жизнь не тебе принадлежит? Что ты – не для себя, а для чего-то, для кого-то?! Забыть хочу, все испытываю удачу, насколько ее хватит, как воду из пиалы, а донышка у пиалы той все нет, и нет...

Будто глаза открылись у старого Утемиса, словно вмиг он увидел, понял, отчего сын его буянит, почему дерзит. Захотелось защитить мальчишку от неведомой, пусть великой, но страшной судьбы, которую предрек ему шаман старый, чтоб его стаду век приплода не видеть! Осекся в проклятии невольном, вспомнив, что негоже шаманов проклинять, обратно вернется все зло, что святому человеку пожелаешь, да и нет у шамана никакого стада, не положено им, святым, стада иметь! Кстати, а

почему у мулла-мырзы тогда они есть: и бараны, и кони, и даже туйе-верблюды, которых бесплатно чабаны его кочевья пасти обязаны были, пока не прогнал его Утемис из своего аула? Ведь все забрал с собой мулла-мырза, до последнего ягненка вытребовал, уходя! Почему они такие разные – старые святыя Степи, и эти, служители Кудай-Аллаха?..

Мысли об этом захватили, закружили, заплутали, унесли прочь от сына, молчавшего всю дорогу, вплоть до самой станицы Яманхалинской. Впрочем, еще за версту до казачьих хуторов шаман повернул коня, так что сделали большой круг, огибая станицу, чтобы не попасться патрулям войска уральского казачества: казак яицкий до фарманов губернаторов всяких часто глух бывает, а ограбить кайсака на хорошей лошади да с богатой сбруей ему не впервой. Кто найдет потом в степях кости старого кайсака да ребенка, даром что близкий к хану Бокею человек? У казаков-староверов свой закон, свое понятие, и ежели могут они закон государя орысского в чем нарушить – не задумываясь сделают это, была-б надежда, что наказания за тем не последует никакого!

Всякий раз, когда задумывался Утемис о казаках, что у берегов Жайыка обретались, казалось ему, что прав шаман, а муллы ошибаются. Вот ведь, вроде, орысы Ису своим богом-кудай почитают, тоже, значит, как муллы говорят, народ Книги. И все равно между собой в своей же вере разобраться не могут. Не ходит казак яицкий в килису-церковь, в избах особых молится, даже хлеб со своими же единовверцами-орысами, которые в официальную килису ходят, делить не желает, из-за того, что по-иному молитву Исе творит. Император орысский его особой данью обложил, и значит, нет у народа орысов единства в вере, как нет его и у степного народа. И где-то тут лежит путь к пониманию того, что следует сделать всем, кто в степи живет, степью да рекой кормится! Но будто страх сковывает мысли старого главы кочевья, не пускает за запретную границу, обратно велит бежать, под тень великого хана Бокея, который плохо ли, хорошо ли, а держит всех в единстве, пусть даже

единение то на страхе перед ружьями гарнизонов орысских строится. И где-то там, в глубине этой тени мелькает гущей тьмой совсем уж крамольная мысль: а не задумываются ли о том же и казаки?..

— Казаки! — шаман скакал навстречу, предупреждая, махал над головой плетью-камшой, изображая, как яицкие башибузуки саблями своими над головами крутят.

Помяни шайтана в степи, он и появится! Вот надо было о них сейчас думать, да?! Обругал сам себя в сердцах старый Утемис, остановил коня, огляделся. Места вокруг не то, чтобы совсем не знакомые, однако не часто водит сюда он кочевье свое, а все из-за тех же казаков, гонящих степной народ от реки, несущей в себе главный их прокорм — рыбу красную. Куда теперь схорониться, куда идти, чтобы на глаза разъезду не попасться? Велика степь, а податься в ней некуда от врага! Наверное, потому и выживал в ней всегда не тот, кто бежал, а тот, кто смело на врага своего шел. Да только изменилось время, большая власть свои законы ставит, смелому с государством геройствовать не в мочь, государство героев только мертвых любит. Живыми же только осторожные да покорные оставаться должны, и в том залог прочности всякой власти.

Жаркой зыбью дрожит воздух над степью, желтой всюду, кроме берега реки — зеленый, он манит защитой да прохладой, только далеко, не успеть, не доскакать, а в мареве миражом смертельным проявляются дрожащие пока вдали фигуры конных казаков. Страшно Утемису — не за себя, за сына, который вот так вот, нелепо, из-за его, между прочим, глупости, с жизнью расстаться может. Посмотрел отец на Махамбета, а тот сидит впереди, за луку седла ухватился, спокойный вроде, нет на лице страха. Доверяет, значит, отцу. Считает, что защитит его староста аульный, хозяин кочевья, который и сам не помнит, когда последний раз саблю-кылыш из ножен для сечи смертельной вынимал!

— Не вынимай! — шепчет, а будто бы кричит шаман, заприметив,

как сжимает Утемис рукоять меча своего. – Не трогай оружие, ради Тенгри! Ради Кудая, ради сына, ради всего святого, не трогай оружие!

Утемис почувствовал, как мальчик положил свою руку поверх его, спокойно так, и будто без усилий каких, хотя крепко сжимала рука старика рукоять дедовского меча, последний раз испившего кровь врага еще во времена восстания Срыма Датова. А тому уж полвека как прошло! И вот берет детская ручка отцовскую большую руку, и легко снимает ее с рукояти, отводит в сторону, подтверждая шамана требование. А Утемис и слушается их обоих, будто не он верховодить людьми привычен, будто не его старостой аульным по праву рождения, да за мудрость на кошму возводили. Слушается сына, слушается шамана. Шаман же странные, невиданные еще старым Утемисом никогда, действия творит. Вкруг утемисова коня кругами скачет, из кожаного мешочка, что на поясе, пыль пахучую раскидывает, слова какие-то выговаривает... И вроде знакомы слова эти, чем-то в груди отзываются, а смыслу – не помнит старый Утемис. И дух вокруг тяжелый встает, будто полынь кто руками растер да к самому лицу поднес. Аж слезы из глаз пошли!

И видит Утемис сквозь слез пелену, как из марева жаркого появился разъезд казачий – пятеро всадников, при саблях, ружьях да пиках. Совсем близко подскакали, а лиц не разглядеть – все в тумане из-за слез этих проклятых. И голоса слышны, будто кто голову ему подушкой накрыл, и слабый звук речи казачьей через ту невидимую подушку к нему пробивается:

- Чай, нечистая сила тут, говорю тебе, Митрич... Христом-богом...
- Не поминай всуе!..
- Так ить тутошки были, Христом-богом...
- Не поминай, кому говорю!..
- Все ить видели, аль глаза мои мне вруть?..
- Глаз не собака, брехать не станет!..
- А можа, показалось? Можа, навь степная? От жары, опять же...
- Кака те навь, когда все, почитай, видели – два киргиза, на конях, один впереди, другой, видать, с бабой аль дитем,

потяжелемше, следом...

– Так ить нету!.. Сгинули!..

– Сам ты сгинул! Следы, вишь, есть, потоптано конями...

Дунул ветер, откуда ни возьмись, зашуршал жухлой, обожженной солнцем травой, пылью по голой степи, следы конские заметая, только вот дух полынный никуда не делся, и марево со слезами так и стоят перед глазами. А казаки того пуще меж собой ругаются:

– Да где, следы-то?

– От ить, тутошки были, сей миг ветром их...

– Каким ветром, Колыван?! Ветра в степи уже третий день, почитай, нет!.. напекло тебе!..

– А я говорю – нечистая сила!..

– Ох, договоришься ты у мя, Колыван, старцу скажу – ночь в молельной проведешь за часословом! Из тя самого духа нечистого выгонять будем! Ишь ты, нечистый ему навь кажить, ум смущает!..

– Да как же так... Да что же это?!..

– Поскакали отседва, артельные, видать, и впрямь припекло, духом полынным разит, аж не в мочь... а ить не время для полыни... можа, вправду, согрешимши, всем ночь за часословом стоять...

Ускакал, отдалился казачий разъезд, но тихо стоял шаман на стремянах, ждал, и только когда совсем пропали из виду, дунул на ладонь. Вмиг исчезли слезы, застилавшие взгляд, и дух полынный, от которого аж дыхание сперло в груди!

– Что?.. Что это было? – Утемис закашлялся, а шаман подъехал близко, по спине похлопал, протянул воду из кожаного бурдюка:

– Полынь, сушеная да толченая в порошок..., – ответил, а глаза опять смеются, будто не над ними всеми еще несколько минут назад висела смертельная опасность.

– Не про то я спрашиваю! – рассердился Утемис, которому сейчас очень нужно было на кого-нибудь направить собственную злость, родившуюся от собственного же страха.

А шаману хоть бы что! Смеется:

– У муллы своего спросишь! – ответил, и вперед поскакал.

А Утемис только вслед глядит, коня шагом пустил, дышит тяжело, сердито. Махамбет, мальчишка, к отцу повернулся, посмотрел снизу вверх, как у того ноздри от злости раздуваются, подбородки дрожат. Тихим голосом заговорил Махамбет, сын Утемиса:

– У всего свои аруахи есть, аке. Наш шаман аруахов полыни просил, те глаза казакам в сторону отводили, ум затуманили, так что не видели они нас, а что видели – понять не могли.

– У травы духи предков? – недовольно проворчал Утемис, да не потому, что не поверил сыну, а так, больше для порядка, чтобы шибко умным себя малой не возомнил.

Махамбет же, словно понимая, ответил просто:

– У всего, аке, и у травы тоже. Она же живая, рождается, умирает...

И кивнул, словно закрывая разговор. А Утемису уж и не хотелось продолжать. Хотелось быстрее добраться до медресе, сдать на руки, что называется, мудрым людям на обучение сына своего, родного, а кажется теперь – такого незнакомого! Пришпорил пятками коня Утемис, ускорился, догнал шамана. Шаман посмотрел на старосту аульного, ничего не сказал. Только кивнул, алга, мол, вперед едем! Утемис в ответ наподдал пятками по бокам усталому уже коню. Тоже – молча.

С тем и поскакали дальше.

+ + +

Степь, зеленевшая с приближением к берегу Ак Жайыка, словно наполнялась жизнью: стали видны следы сайгаков, совсем свежие еще; суслик бесстрашно стоял у норки, будто не замечая парящего над ним беркута; уж желтой лентой по бледно-зеленой чахлой траве проползал к корням карагача, но никаких даже

намеков на то, что здесь обитают люди, заметно не было. Развалины Ханской Ставки – Сарайчика остались позади, к ним даже заезжать не стали, торопясь. Но Белый медресе не явил себя Утемису во всей красе, хоть и питал старый кочевник надежду: уж после чуда, случившегося в степи с казачьим разъездом, так и хотелось продолжения, будто должно было это путешествие и дальше становиться частью какой-то старой сказки, легенды, предания из тех, что бабки-апашки рассказывают зимними вечерами, собираясь в юртах у старших жен. Не только детишки, но и старшие жигиты, которым удалось в обход обычаев оказаться на таких мажилисах-собраниях, с интересом вслушиваются в затейливые или простые, но всегда берущие за самое нутро истории. Утемис любил сказки, которых, правда, становилось все меньше. Не любили муллы степных сказок, считали их харам-запретом, наследием языческой древности, всячески поносили рассказчиков, предлагая взамен истории из жизни пророка, мир ему... «Ох же ты, погляди, совсем, как шаман думать стал!» – поймал себя на неудобной мысли Утемис, одернул незваную, и застеснялся. А шаман, окаянный, вот он, тут, только вспомни!

– Приехали, агай! – почтительно так разговаривает, старшим величает, словно мысли прочитал, почувствовал раздражительность к себе, что в сердце кочевого старосты разрастается.

Мысли, кажись, и вправду читает шаман, ближе подъехал, совсем рядом встал, к уху наклонился, шепчет:

– Здесь место такое, негоже дурное мыслить, вежливым быть надобно тут, вот и давяю на горло песне, а не то услышал бы обращение, какое заслуживаешь...

– Не изменился, лысый-тазша, какой был, еретик, такой и остался! Хоть бы здесь себя в руки взял! – голос, чуть дребезжащий, будто из треснутой домбры кто-то звуки извлекает, пытаюсь наигрыш-күй сыграть, не умеючи.

А обладатель голоса – седой, как лунь, бороденка редкая,

раскосые глаза-щелки в сторону шамана смотрят, сверху вниз, даром, что шаман на коне. И то немудрено – сидит старичок на ак наре, белом верблюде-великане, будто с небес взирает на смертных внизу. А на него самого смотреть – странное дело! – мочи нет, будто слепит свет, исходящий из-за его спины, то ли блеском солнца в водах Ак Жайыка, то ли все дело в дрожащем мареве за ним, мешающем разглядеть, что же там такое. Прищурился Утемис – пропало марево, ничего не дрожит, обычный лес тугайный, за густыми ветвями которого сверкают быстрые воды реки. Только вот и старика никакого нет, получается! А как шире глаза откроешь – вот он, старик на огромном белом верблюде, и стена дрожащего воздуха за ним. Будто сама судьба-тагдыр говорили старосте кочевому: хотел чуда? На тебе! Вот тебе старец в седилах, как в сказках апашек, на дивном, белом, как снег, наре, и говорит, гляди, как настоящий колдун-абыз, твоего шамана плешивым обозвал, а на такое даже великий Бокейхан не осмеливается! А сам-то плешивый смущен, даже конь его смирный стал, стоит, будто вкопанный, с хозяином позор-маскара разделяя.

– Уау, маскара, позор всей нашей братии, тазша-бала, кого ты к нам привел на этот раз? – старик на верблюде, вроде бы, улыбался, будто шутил, но была в голосе его такая властность, что смеяться над шуткой стало боязно.

Еще мигом раньше был шаман – сама покорность и смирение, и вдруг будто взорвался бураном степным, зимним, сверкнул льдинками во взгляде, тряхнул лысой головой, замахал руками, заговорил дерзко:

– Уйбай, шал, муллы, что в законе, меня позором людским считают, муллы что от закона бегут, меня позорным обзывают! Что вы за люди такие?! Вам угодить может только тот, кто ничего не делает, прям как вы сами, только языком молоть горазды!

– А ты, значит, делаешь? Что же ты делаешь, колдун-недоучка? Сам-то на что горазд, беглец, оставивший науку, так и не познавший основы веры...?!

– Да с вашими-то требованиями, пока вы меня обучившимся признали, все время мира потерял бы! А мир на месте не стоит, в мире все меняется, и нам меняться пристало! С миром жить надо, в мире жить надо, чтобы от него не отрываться!.. – продолжает шуметь шаман. А старик с еще большей ехидцей:

– Вот ты и оторвался! Сбежал, учебу бросил, чего ради?..

– А вот ради него! Ради народа своего...

– Молчи! – сделал рукою движение старик, и поток слов шамана иссяк вмиг, словно ручей камнем завалило. Не по своей воле замолчал шаман, видно, не говорит, а словами своими будто давится, вырваться хотят они, да не могут. А старик на Махамбета пристально смотрит, прищуривается, будто не на ребенка – на солнце глядит.

– Кудай-тамак, так вы это называете, кажется? Жертва вашему Тенгри, который для нас – Танры... Вижу теперь, зачем уходил... за кем уходил, вижу... Пір Бекет нам о ребенке этом тоже говорил. А ты его учиться, значит, привел? Что сам не обучаешь? По-своему, степному закону, чего себе преемника не растишь?

– Да все потому же! – буркнул шаман, вмиг успокоившись, будто весь воздух из него вышел вместе с силой да яростью. – Не дают его мне, и не дадут. Я ж позор, понимаешь! А позор-то истинный в том, что у своего народа я не в чести, да что там я – Творец не в чести!

– Просто они его теперь учатся по-другому называть, – мягко, будто ребенка успокаивая, сказал старик, продолжая пристально разглядывать Махамбета. И вдруг добавил резко: – Иди ко мне!

И почудилось Утемису странное, невозможное: будто бы вытянулась рука старца, с высоты роста верблюжьего, удлинилась, схватила мальчишку за ворот, сжала, и в воздух подняла, к себе, в ауыт, седло верблюжье, посадит сейчас...

Моргнул: нет, привиделось, вот же, Махамбет сам с коня спрыгнул, сам за край жазы, потника верблюжьего, ухватился, прыгает. И тут только его старик, быстро наклонившись, за ворот схватил, помог, к себе посадил.

– Я, На Сим ибн Насим, последний суфий Поднебесной, настоятель и ходжа Белого Медресе, спрашиваю отца Махамбета, явившегося к воротам школы нашей: отдаешь ребенка мне в обучение?

«Ох ты, меня заметил, наконец, ко мне обращается!» – то ли с раздражением, то ли с восторгом, непонятно как смешавшимся в душе его, подумал Утемис. Но ответил, как шаман еще в ауле учил:

– Я, отец сыну своему, Махамбету, Утемис, из рода Берш, колена Жайык, отдаю тебе сына на обучение. Мясо – твоё, кости – мои!

Довольный, кивнул старик, и словно забыл об Утемисе. Снова на шамана глядит, уже серьезно так, без ехидцы в голосе, обращается:

– Правильное дело ты сделал. Здесь ему место, здесь учиться должен, чтобы народу своему пользу принести. Судьба его по-всякому обернуться может, но что должны, мы сделаем. Ранее, чем через пять лет, не выйдет он отсюда завершившим обучение свое. Но каждое лето в этот день можете приезжать к этому месту, и забирать его к себе на побывку, с тем, чтобы ровно через двадцать две луны возвращался он обратно. Попрощайся с отцом, Махамбет!

И тут снова удивился Утемис, хотя, казалось бы, чему еще тут удивляться, когда весь день одни чудеса творятся, словно в сказке волшебной, старинной. Легко, будто всю жизнь на верблюдах ездил, соскочил Махамбет с ауыта, соскользнул по богато расшитому узорами шелковому жазы на землю, подбежал к стремени отцовскому, прижался к носку сапога пыльного лбом, как полагается самому послушному из сыновей, молвил покорно:

– Аман бол, аке! Сениминди актаймын! Будь здоров, отец! Доверие твое оправдаю!

Просит, значит, отпустить все обязательства ему, будто не в обучение – на войну идет, на смерть идет! И сам отцу счастливо оставаться желает. И не хочется, но сами губы выговаривают:

– Аман бол, балам!

Благословил, значит, отец – сына. Сын же, будто только того и ждал, от сапога отпрянул, к верблюду белому вернулся, но обратно в седло залезать не стал, дождался, пока старик развернет великана своего, за край потника ухватился, да так пешком, рядышком, и ушел в дрожащее марево. Миг, другой, моргнул Утемис: и уж нет ни старика на белом верблюде, ни Махамбета. А остались только он сам, да шаман, у которого глаза отчего-то блестят влагой, чему никто еще и никогда в этой жестокой степи свидетелем не был.

+ + +

*Снегом вьюга хоть закружит,
Разве заросли завьюжит?!
Кто с одеждой тёплой дружен,
побоится разве стужи?!
Устоит пред вероломством
стяг над домом без потомства?!
Там, где пал скакун на скачках,
бег уместен старой клячи?!
Тех, кто страх и робость пряча,
хоть и чуя неудачу,
неосознанно иль зряче,
бросив жён, детей, покой
всё же шли на смертный бой,
как нам можно обозначить:
как безбожников, героев
или, может быть, иначе?*

Махамбет Утемисулы – «Если вдруг закружит вьюга» Romanlar